

О злоупотреблении понятием «сопротивления»¹

Понятие «сопротивления» является, по всей очевидности, слабым местом теоретической системы психоанализа. Слабость его состоит в том, что психоаналитиков можно с легкостью упрекнуть, что любое несогласие воспринимается ими как сопротивление. Следовательно, и если бы дело так и обстояло, было бы невозможно предположить, что эта теория может содержать ошибки и что даже вся она может быть одной большой ошибкой.

Фрейд считал нужным «подчеркивать, что сопротивление психоанализу как раз служит доказательством его правоты». Американский невропатолог Израэль Розенфилд² отозвался об этом заявлении как о выражении «невыносимой нарциссической самонадеянности». Однако, как признают и сторонники, и противники Фрейда, он без особых колебаний менял теорию, всякий раз когда та не давала ему продвинуться в понимании новых проблем или когда ему приходилось работать со случаями, которые противоречили его предыдущим выводам.

В истории мысли есть мало примеров исследователей, которые, не колеблясь, пересматривали целиком или частично свои теории. Чаще всего каждый цеплялся за кусок реальности или истины, которую обнаружил — или считал, что обнаружил — и проводил остаток своего времени за шлифовкой, улучшением или доказательством того, что он уже никогда не собирался пересматривать. Вначале Фрейд полагал, что наши неврозы являются следствием реальных травм, проявлений сексуального насилия (совершенного взрослыми в отношении детей), которые были вытеснены из сознания и выражаются в виде симптомов. Эта теория, называемая теорией совращения, многое впитала в себя из первоисточников психоанализа, то есть из гипнотизма. По мнению Шарко, действительно, некоторые виды посттравматиче-

¹ Глава из книги: *Winter Jean-Pierre*. Il n'est jamais trop tard pour choisir la psychanalyse. — Paris: La Martinière, 2001. — *Прим перев.*

² *Rosenfield I*. Freud's Megalomania. — N. Y.: W. W. Norton, 2000.

ского паралича, например, после несчастного случая, сопровождались истерией, поэтому было возможно искусственным путем воспроизвести их. «Отныне, — писал Фрейд, — мы упорно ожидали, что травматическое влияние может в самом общем смысле участвовать в возникновении симптомов истерии».

Но Фрейд должен был признать, что подобная интерпретация клинических фактов не позволяла понять большую часть того материала, с которым ему приходилось иметь дело. Он мог бы оставить без внимания этот аспект, как это до него делалось при неврологических исследованиях, когда совершенно спокойно допускалось, что, так как неизвестно, что делать с психическим фактором, остается отдать его на откуп шарлатанам, которыми были, с точки зрения науки, философы, мистики, поэты и прочие.

Когда Фрейд, параллельно с пациентами, которых он наблюдал, отнесся и к самому себе как к объекту исследования, он осознал, что в его представлениях необходимо внести значительные изменения. Отказ от теории совращения не означал отказа от того, что факты травматизма имели место; этот отказ не был и признанием несостоятельности своей теории, раз приходилось обвинять пациенток в том, что они во *всех* случаях «сочиняли» свои воспоминания о кровосмесительных связях с отцом, дядей и др. Нет! Отказаться от теории совращения означало признать, что невротические симптомы³ возникают как замена действий, которые никогда не имели места. Это изменение в теории позволяло понять многие вещи, которые без него остались бы неясными и, главное, на которые было бы трудно, даже невозможно, воздействовать.

Из признания теории совращения верной следовало бы, что кровосмесительные связи почти универсальны и практически «нормальны». Однако необходимо было признать очевидность: все, страдающие неврозом, говорили об инцесте, не все будучи его жертвами. Не сами факты, но «рассказы об инцесте» приняли универсальный характер. Вывод напрашивался сам: патогенными факторами были затраты психической энергии, молчаливая борьба, которую пациент вел против событий, даже не начавших собственно реализовываться⁴. И поэтому, теряя необходимость устанавливать факты, как в судебной практике, психоаналитик обрекал себя на неспособность выдвинуть конкретные доказательства, подкрепляющие его высказывания. Поскольку здесь невозможно обратиться за свидетельскими показаниями к третьим лицам, отправиться на поиски в архивы и найти доказательства из тех, на которые обычно ссылаются юристы, историки или ученые, рано или поздно всё неизбежно сводилось к догадкам и домыслам. Поэтому неуди-

³ Психозы представляют, конечно, иной и куда более сложный случай.

⁴ Если «реализация» имеет место, то вопрос о невротической конструкции тем не менее остается вопросом о психических затратах и об их «анахронизме».

вительно, что в образовавшуюся брешь устремились потоки критики. В самом деле, трудно оспаривать тот факт, что доказывать пагубное влияние того, чего не было, почти невозможно.

Это так очевидно, что даже в среде психотерапевтов стали выдвигаться на первый взгляд правдоподобные аргументы, отвергающие Фрейда периода теории совращения в пользу раннего Фрейда, признававшего значение травматической действительности. Таким образом, ему вменили в вину то, что он трусливо отрекся от своих первых гипотез, для того чтобы защитить существующий социальный строй, власть отцов, мужчин и т. д. Открытия Фрейда пугали его самого, поэтому он перестал заниматься исследованием извращенных наклонностей у взрослых пациентов. Пораженный резкостью атак, которые вызвал, подняв завесу над тем, что творилось в семьях, с виду самых благопристойных, он дал задний ход и, не желая разрушать семейный уклад, не колеблясь, отступился от своих взглядов и обвинил ребенка там, где прежде тот был лишь жертвой. Вздор! Эти яростные выпады не имели под собой никаких оснований и были далеки от действительности: на самом деле они были вскормлены нашими глубоко запрятанными представлениями о себе как невинных детях, развращенных обществом, мучимых дьявольскими желаниями денег, власти, удовлетворения своего эгоизма и т. д.

Но здесь нас интересует тот факт, что часто именно эти критики утверждали, что фрейдовская теория совершенно не учитывает реальные факты. Однако если Фрейд отдал предпочтение не своей первой теории, а той, которая в центр ставит область воображаемого, то это случилось как раз потому, что он вынужден был встречаться с упрямыми фактами. Обращаясь к фантазмам, Фрейд никогда не утверждал, что некоторых случаев плохого обращения с детьми, случаев инцеста или жестокости в действительности не было. Он просто дополнил свои наблюдения, подчеркнув, что если бы не столкновение подобных травм с непристойными желаниями, было бы невозможно объяснить появление невроза или психоза, более того, было бы невозможно «вылечить» их так, чтобы они не проявились в иной форме и в другом месте.

Недоразумение рождается от того, какой смысл сторонники и противники Фрейда вкладывают в слово «факты». Для противников факт есть акт: насилие, пощечина, несчастный случай, рождение, смерть... Признавая конкретный характер этих фактов, Фрейд добавляет, что событием является факт психический: мысль, имеющая такую эмоциональную нагрузку, что она сразу подвергается вытеснению. Так, например, для молодой пациентки Фрейда, у которой умерла сестра, решающим событием, с точки зрения невротической конструкции, является не потеря любимой сестры, но неотвратимо преследующие ее мысли о зяте: «Теперь он свободен и может на мне жениться!». То, что рассматривается Фрейдом как психический факт, столь интимно, что паци-

ент и сам уже сомневается, что это породил. Что особенно поражает пациента, поражает до такой степени, что может даже увести его с пути, которым он до этого следовал, — так это не внешнее происшествие, но мысленное событие, родившееся в нем и, едва показавшись, возвращающееся с большим или меньшим успехом.

Цель лечения — позволить, чтобы этот факт был выставлен наружу один раз, пусть на короткое время, чтобы решить, останется ли он в лучах дневного света или окончательно будет низвергнут в пропасть. И когда психоаналитик говорит о пациенте, что тот сопротивляется, это не означает — во всяком случае, мы на это надеемся, — что он прав и что его пациент неправ; это означает, что они продолжают вкладывать разный смысл в слова «факты» или «события». Это значит, что пациент, не сдаваясь, ищет внешний знак, который послужил бы объяснением или ключом к избавлению его от страдания, в то время как его психоаналитик, не переставая, отсылает его к его собственным интимным образам. Пациент, мучающийся от невроза, напоминает суеверного человека: все ему кажется знаком. Знаком чужой воли, которой он подчиняется и против которой восстает. Что же касается психотерапевта, который тихо говорит ему, что упрямство на этом пути является сопротивлением, то он пытается понять не то, знаком чего является симптом пациента, но о чем говорит этот симптом. Другими словами, речь идет о том, чтобы пациент предоставил слово самому симптому, с тем чтобы суметь связать его с другими мысленными явлениями и определить его направленность.

В сущности мы имеем дело с двумя концепциями того, что означает «говорить». По одной из них (а сегодня именно она, безусловно, пользуется популярностью у большинства), говорить — значит общаться. Говорить — это передавать сообщение с утилитарной целью, информировать. В качестве примера можно привести рекламное сообщение, всегда сжатое, эффективное и сознательно направленное на продажу товара или услуги. В такой перспективе язык является орудием, которое при необходимости можно заменить другим, не опасаясь каких-либо неожиданных последствий подобной замены. Так, если картинка окажется более эффективным инструментом для продвижения продукта, мы без угрызений совести, без философских раздоров, без попыток повторить историю иконоборчества выведем из употребления слово и заменим его телевизионным и кинематографическим изображением. Постепенно мы устраним все места, где используется слово: кафе, различные форумы, сельские площади, а также заменим машинами обслуживающий персонал на железной дороге, а автоответчиками — живых собеседников на другом конце телефонного провода.

По другой концепции языка, которая никоим образом не отменяет первую, речь идет о том, что акт говорения — это то, что делает нас субъектами. В этом значении акт говорения представляется не имеющим причины и определенной цели. Речь идет не о том, чтобы гово-

ритель, чтобы получить что-либо, но потому что только при этом условии мы существуем как субъекты. Разница между двумя этими концепциями говорения значительна, даже если она не сразу очевидна. Если придерживаться первой концепции, то здесь решающая роль принадлежит воле и определенным качествам личности. С этой точки зрения, субъект болен, потому что слаб или некомпетентен, и он сможет вылечиться, если будут предприняты попытки закалить его характер или привить какие-то качества, которые у него отсутствуют. Отсюда изобилие пользующихся успехом пособий, вдохновленных поведенческими терапиями (которые суть лишь повторение теорий Павлова), которые учат вас прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться, чтобы лучше любить, лучше работать, лучше делать то или сё. Отсюда может следовать социологическое представление о том, что субъект определяется лишь неудовлетворенностью своих нужд. Логично предположить, что решение заключается в переустройстве общества, которое будет перераспределять блага, вознаграждать граждан и восстанавливать равновесие между ними, чтобы снизить пороги взаимной нетерпимости.

Как в первом, так и во втором случае субъект в данных концепциях представлен исключительно как потребитель (им он тоже является!), к которому можно применить мысль, высказанную юмористом Ромэном Бутеем: «Тот, кто не покупает, выглядит сумасшедшим в глазах того, кто продает». Если сейчас мы предположим, что тому, кто говорит, нечего продавать, мы поймем, что то, что мы называем бессознательным, представляет собой отношение к другому, которое проходит через отношение к самому себе, к своему языку, к своим импульсам и своему телу. И чтобы постичь себя, нужно столкнуться с другим, с тем, с кем мы говорим.

По поводу этого другого — в данном случае психоаналитика — мы надеемся, что он умеет не путать сферу информации и сферу субъективации, и поскольку мы предполагаем наличие у него этого умения, мы его любим. Это то, что называется трансфером. Вовсе не обязательно пройти анализ, чтобы утверждать, что говорить легче с тем или с той, кого любишь. Но, может быть, стоит пройти курс анализа, чтобы понять, что если ты его любишь, то потому, что наделяешь его способностью разговаривать с бессознательным. И если он может с ним разговаривать, это потому, что он знает о нем что-то, чего не знаю я. По крайней мере, ты так чувствуешь, и это называется: идеализация.

В сущности, с некоторыми оговорками, для иллюстрации этой связи речи и любви, несомненно, лучше всего подходит универсальный характер молитвы. Всегда и везде человек молится Богу, реальное существование которого только и проявляется в молитве. В связи с этим мне вспоминаются теледебаты, во время которых я должен был говорить с одним молодым человеком, который представлялся экзорцистом. Он утверждал, что изгонял дьявола из хлебов, в которых лукавый подбра-

сывал булавки в корм для скота. На мой вопрос, были ли у него доказательства существования дьявола, он отвечал не раздумывая: «Доказательство того, что дьявол существует, — это то, что я с ним борюсь!».

Но что особенно важно: его ответ позволял понять, что для того, кто молится, сама молитва свидетельствует о существовании Бога. Из всего этого вытекает, что вопрос о том, имеют ли психоаналитики основания использовать понятие сопротивления, должен формулироваться в терминах, отличных от тех, которые употребляются обычно. Природа сопротивления, о котором говорят фрейдисты, — не физическая, не историческая, но этическая. Однако же те, кто упрекает психоаналитиков в злоупотреблении этим «концептом», а иногда и в его использовании в сомнительных целях, делают вид, что не понимают, что смысл выходит за рамки спора о том, «кто прав, а кто нет».

«Бессознательное имеет этический статус», — утверждал Лакан в семинаре о четырех основных понятиях психоанализа. Это означает признание того, что гипотеза о бессознательном имеет смысл лишь в том случае, когда служит основанием для теории субъекта. Почему? Потому что симптомы человека указывают на невозможность свести его к объекту наблюдения врача, психиатра или социолога. Первые страдающие истерией пациентки Фрейда привели его к изменению этического курса, заставив его выслушивать безумие другого (пациента), не осуждая его, не классифицируя, не овеществляя, — это то, что Фрейд смог сделать только потому, что знал, что сам был во власти тех же психических процессов, что и они.

В споре с пастором Пфистером или американским психологом Дж. Патнэмом Фрейд позаботился о том, чтобы указать, что психоанализ не предлагал пациенту априори никакого идеала добродетели, никакой морали. Если психоанализ имеет какое-то отношение к морали, то исключительно в том смысле, что она часто приводит вовлеченного субъекта к тому, что он начинает ставить под сомнение свои моральные предположения, непременно обнаруживая в их основе чувство вины. Поэтому психоанализ, который привел бы пациента к признанию своей вины в преступлении, которое он будто и в самом деле совершил, помог бы лишь укрепить моральный и правовой порядок, в котором оно предположительно произошло. Если лечение психоанализом может иногда иметь негативные последствия, так это в силу того, что в этом случае пациент ставится перед фактом, что, каким бы ни было его поведение, его бессознательное чувство вины не зависит от его поступков. Он не виноват в совершении некоторых преступлений; он попался, преступая закон, потому что был виновен.

Однако от чего появляется это в некоторой степени базовое чувство вины? От достоверности желания, о котором мы стараемся ничего не знать. Подчеркнем: достоверность не фактического события, не удовлетворения или неудовлетворения потребности, но достоверность желания, которое отдаляет нас от самих себя. И если психоана-

литик говорит, что субъект сопротивляется признанию этой достоверности, то только сам этот субъект может знать, ошибается психоаналитик сам или обманывает его, субъекта. Он узнаёт это не сразу. Но о том, что сопротивление побеждено, а значит, что оно все-таки существовало, будет свидетельствовать сюрприз творчества: возникнет дотоле не слыханная речь, будут высказаны вещи, которые помогут пациенту освободиться от его сомнений или его предыдущих фантазмов. Совершенно неожиданно, мгновенно, он окажется там, где говорит, и будет говорить из того места, где находится. Эти краткие мгновения, которые сопровождаются ликованием, иногда наоборот, вызывают тоску—это причина, по которой чаще всего сопротивление не уходит сразу.

Кто на своем опыте испытал невыносимую дрожь по всему телу, когда говоришь правду, тот сможет понять, о чем идет речь. Почему в теле начинается такая сильная дрожь, напоминающие схватки при родах? Потому что тогда пациент встречает свое собственное отображение, и оно пугает его, как если бы на повороте он неожиданно столкнулся со своим зеркальным отражением. Он со страхом пробует себя в этом образе, который он не знает, словно он сам себе чужой. Об этом речь идет и в майевтике Сократа: порождать мысли, которые удивляют нас самих и в то же время сообщают нам нечто новое.

Если здесь есть этический проект, то он состоит в том, чтобы научиться приспособливаться и приручать этого чужака, который нас представляет. Это возможно, когда общаешься с человеком искусства (искусства обращения с бессознательным), который сам не боится Чужого. Сложно с уверенностью сказать, как его распознать, но что точно, так это то, что если у него есть вкус к власти, это значит, что он еще подчинен своему страху и что он, следовательно, не сможет помочь мне освободиться от моего. Ибо именно в этом кроется этический вопрос: дело едва ли заключается в том, чтобы знать (как в философии Канта), нужно ли нам, чтобы действовать, подчиниться некоему универсальному и вроде бы категорическому императиву, и не в том, чтобы знать, согласуются ли наши поступки с той или иной истиной, привнесенной религией или наукой. Речь идет о том, будем ли мы в нашей жизни продолжать удовлетворять желание тех, кто нас тиранизирует⁵.

В результате анализа именно этот вопрос неминуемо возникает у пациента, и нередко он обходит его, предпочитая своему желанию комфорт от того, что полагается на желания учителя. Но если он делает этот выбор и таким образом соучаствует в собственном отчуждении, было бы глупостью упрекать его в сопротивлении—ибо здесь понятие «сопротивления» действует как упрек,—потому что оно лишь поддерживает равновесие психической системы, в котором оно продолжает нуждаться.

⁵ *Lacan J. Séminaire sur l'identification* [не издан].

Следовательно, никто со стороны и априори не может сказать, что пациент сопротивляется. Еще раз, только когда сопротивление будет побеждено, *задним числом*, будет правомерно утверждать, что в этом случае пациент сопротивлялся. Заявлять это заранее, как предварительное условие, означает выставлять себя жаждущим господства хранителем истины. Это и признание нашей неспособности или невозможности породить интерпретацию, способную дать появиться чему-то неслыханному для самого субъекта.

Перевод Людмилы Фирсовой